

А. В. Скиперских

ЕВРОПЕЙСКИЙ И РУССКИЙ БУНТ: СХОДСТВО И РАЗЛИЧИЕ КУЛЬТУРНЫХ КОНТЕКСТОВ

Аннотация.

Актуальность и цели. Везде, где существует власть, – существует и сопротивление. Подобная диалектическая оппозиция постоянно актуализирует необходимость в бунтующем человеке, избирающем путь сопротивления репрессивным институтам. Сопротивление может осуществляться в различных формах, особенно обращая на себя внимание в кризисные (переходные) моменты истории. Объективность бунта во многом делает необходимым изучение его причинности. На наш взгляд, причинность может во многом определяться наличествующей культурной традицией, которая по-своему легитимирует бунт и бунтующего человека. Цель работы заключается в рассмотрении культурного контекста, определяющего выборы бунтующего человека, средства осуществления бунта и его доктринальную основу.

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач потребовала использования ряда общенаучных методов. Диалектический метод позволял постоянно актуализировать оппозицию «власть – сопротивление». Сопоставление европейского и русского контекста бунта предполагало обращение к сравнительному методу. Объективность бунта и сопротивления, их присутствие в любых политических ситуациях, представленных в историческом процессе, проверяется историческим методом. Работа над данным исследованием потребовала и обращения к прикладному методологическому инструментарию (метод политической феноменологии и политической герменевтики).

Результаты. Исследован европейский и русский контекст бунта. При этом выявлены как сходства в причинности бунта, так и различия, восходящие к концептуальным принципам той или иной культуры, к ее традициям.

Выводы. Рассмотренные практики бунта приобретают определенные спецификации в том или ином культурном контексте. В то же время практики бунта, производимые в той или иной культурной традиции, имеют много общего, позволяя говорить о некоей предельности человеческого терпения, несовпадения эстетических и психологических миров бунтующего человека и собирательной, репрессивной институции. Практически все приведенные нами примеры, а также обращение к литературным текстам, фиксирующим исторический, культурный и политический опыт, показывают объективность сопротивления, его неизбежность вне зависимости от существующего культурного контекста.

Ключевые слова: бунт, бунтующий человек, власть, культура, легитимация, протест, сопротивление.

А. В. Skiperskikh

EUROPEAN AND RUSSIAN REVOLT: SIMILARITIES AND DIFFERENCES OF CULTURAL CONTEXTS

Abstract.

Background. Wherever there is power – there is resistance. Such a dialectical opposition constantly updates the need for a rebellious person, who chooses the path of resistance to repressive institutions. Resistance can take many forms, especially paying attention to the crisis (transition) moments in history. Objectivity of a rebel-

lion largely makes it necessary to study its purpose. In our opinion, the reasons may be to a large extent determined by the cultural tradition, which in its own way legitimates a rebellion and rebellious men. The article is to consider the cultural context that determines the choice of a rebellious person, means of rebellion implementation and its doctrinal basis.

Materials and methods. Implementation of research tasks required the use of a number of scientific methods. The dialectical method allowed to permanently update the “power – resistance” opposition. Comparison of the European and Russian contexts of a rebellion implied reference to the comparative method. Objectivity of the rebellion and the resistance, their presence in any political situations presented in the historical process, was verified by the historical method. Studying of the present problem also required application of the methodological tools (method of political phenomenology and political hermeneutics).

Results. The author studied the European and Russian contexts of a rebellion. At the same time the researcher revealed both the similarities in causation of a rebellion and the differences that go back to the conceptual principles of culture, its traditions.

Conclusions. The considered rebellion practices acquire certain specifications in a particular cultural context. At the same time, the practice of revolt produced in varying cultural traditions have much in common, allowing to talk about some ultimacy of human patience, a mismatch of aesthetic and psychological worlds of a rebellious human and a collective, oppressive institution. Virtually all of the examples given by the author, as well as the usage of the literary texts, fixing historical, cultural and political experience, show objectivity of resistance, its inevitability, regardless of the existing cultural context.

Key words: rebellion, rebellious man, power, culture, legitimation, protest, resistance.

Политическая практика показывает, что бунт может быть разным, начиная от «мягких» форм – практик ненасильственного сопротивления, вынуждающих власть уступать протестующим, и заканчивая крайними, радикальными формами, когда, наряду с предъявлением «счета» лицу, наделенному властью, вынуждены страдать обычные граждане. За выразительными действиями бунтующего человека нельзя не видеть и ответственности институтов власти, которые только имитировали участие в судьбе индивида вместо того, чтобы принять реальные меры по нейтрализации протестного потенциала. Вообще, необходимо отметить, что сопротивление и протест всегда будут существовать в поле самой власти, выступая ее диалектическими спутниками. Но может ли это означать, что образ бунтующего человека, его требования и цели обладают очевидным сходством, вне зависимости от существующей культурной предопределенности? Пожалуй, нет. Наряду с несомненными сходствами существуют и очевидные различия. Именно об этом речь пойдет в данной статье.

Бунтующий человек в русской традиции имеет собственные основания демонстрировать свой протест по сравнению с бунтующим человеком, сформированным в иной культурной традиции. В отличие от России, в Европе бунт может иметь совершенно иное протяжение во времени. Объективация бунта, его представление могут укладываться в гораздо более короткий временной срок, что, возможно, устраняет риски каких-либо серьезных последствий. В России недовольство накапливается особенно долго. Эта особенность служит выработке особых архетипов русской терпимости, обусловлен-

ной целым рядом факторов, начиная от климатических и географических условий жизни и заканчивая определенной экономической моделью, схватывающей бытие человека, его повседневную жизнь.

Длительное время, необходимое человеку для гражданского пробуждения и формирования претензий политическим институтам в России, имеет аллюзии с преодолением расстояний. Время, проведенное человеком в российской дороге, определенно не сравнимо с временем, проводимым в дороге европейцами. Переживание дороги превращается в некий мистический опыт, способствуя накоплению различного рода рассуждений и мыслей о совершенстве мира как такового и собственного места в нем. Переживание дороги провоцирует грезу стать заменителем дорожных мучений.

Предстоящая долгая дорога предполагает долгие проводы и большой объем поклажи: все берется с запасом и надолго. Специфическим хронотопом, подтверждающим это, является вокзал, отсекающий Запад от Востока, принимающий участие в судьбе бунтующего человека, а также снаряжающий его необходимыми дорожными аксессуарами, когда «не по платформе, а по багажу и по снаряжению можно определить место назначения. Если на Запад, то чемодан, жесткие форменные фуражки, а иногда и папка для бумаг. А если на Восток, то тут можно ожидать большие сундуки на колесах с одеялами, керосиновыми лампами и примусами, завернутыми в газету. На Запад – *в сапогах*, на Восток – *онучах*. Матрос-подводник, отправляющийся на атлантическое побережье, берет в дорогу пару бутербродов в бумаге и проездные продовольственные талоны, отпускник с Востока тащит с собой в старом ящике из-под патронов восьмидневный паек, сковородку и тазик для мытья. На Запад едут в одиночку, спрятав лицо за последним выпуском газеты, Восток настойчиво требует, чтобы люди сбивались в кучки» [1, с. 176].

Долгое пребывание в пути может только подготавливать бунт, потому как человека не отпускает мысль о собственном унижении. Он чувствует, как и в дороге «происходит контакт с институтами власти, незримо пронизывающими социальную ткань, а вместе с ней и выборы индивида» [2, с. 68].

Противостояние огромному количеству сдерживателей и ограничителей не может не раскрывать образ русского человека как потенциального бунтовщика. В этом смысле показательно знаменитое признание К. Победоносцева Д. Мережковскому: «Да знаете ли вы, что такое Россия? Ледяная пустыня, а по ней ходит лихой человек» [3, с. 230–231].

Преодоление дороги как долгого вынашивания мысли о собственном предназначении связывается с большим трудом. Кажется, что это может стоить человеку колоссальных усилий, ведь мысли о бунте могут стать следствием как раз чрезмерного трудового напряжения, чрезмерной отмеченности человека необходимостью труда, о которой когда-то убедительно высказался М. Пришвин: «Нужно трудиться... В поте лица нужно копать землю... И когда устанешь, когда сломается лопата и руки повиснут» [4, с. 58].

Что же представляет собой бунтующий человек в европейском культурном контексте? Заметим, что именно культурный контекст легитимирует бунт, артикулируя энергию бунтующего человека на тех или иных целях. Именно с помощью культурного контекста можно приблизиться к пониманию содержания самого человеческого отказа, к структуре произнесенного бунтующим человеком «нет». Наверное, первыми бунтовщикам были неко-

торые персонажи древнегреческих мифов – Сизиф и Икар, Тантал и Прометей, Одиссей, скитающийся странник, изобретательный и сентиментальный.

Европейская история также может быть рассмотрена в контексте бунта, когда человек оказывается вынужденным защищать свои ценности в противостоянии с государственными и религиозными институтами. Довольно вариативное меню известных бунтующих европейцев нам предлагает и европейская литература, в дискурсе которой бунтовщиками представляются и Дон Кихот М. Сервантеса, и Брандт Г. Ибсена. Ценности свободомыслия, наряду с собственной этнической идентичностью, защищает герой Ш. де Костера и фламандских легенд Тиль Уленшпигель. Как справедливо отметит Д. Оруэлл в своем эссе «Подавление литературы», «в прошлом, по крайней мере на всем протяжении протестантских веков, представление о бунте совпадало с представлением о честности мышления» [5, с. 275]. Таким образом, европейская культура во многом легитимирует бунт, предписывая его субъекту замечательные, правильные черты.

Позже в европейской традиции бунт станет рефлексией на чрезмерное наступление цивилизации на индивида и природу (вспомним рассуждения Г. Маркузе в «Эросе и цивилизации»). Бунт направляется против определенной культурной формы, связывающей общество некими обязательствами подчинения индустриальному порядку вместо необходимости ставить во главу угла индивидуальные ценности. В этом случае культурная необходимость оказывается выше воли конкретного субъекта репрессии, проявляющегося как некая политическая властная инстанция. Как справедливо отмечает И. Яковенко, «подлинным субъектом репрессии выступает социокультурная целостность, нерасторжимое единство общества и культуры. Культура диктует людям (обществу) поведение, репрессирующее тех или иных нарушителей норм и ценностей данной культуры» [6, с. 15].

Европейский человек, пытающийся сомневаться в справедливости притязаний на собственную волю со стороны этой социокультурной целостности, стремится обуздать и саму природу – его бунт направлен против ее законов. Органичность природы во многом означает и органичность самой власти, органичность учрежденного ею порядка вещей. Перед европейским бунтующим человеком ставится задача преодоления данного порядка, равно как и преодоления самого себя, собственной участи. Человек претендует быть ее преобразователем, покорителем стихии, с которой во многом может метафоризироваться государственная машина. Таков Сизиф Альбера Камю, таков капитан Ахав Германа Мелвилла.

Созидательность европейского бунта отчасти просматривается в мысли А. Камю, видевшего в практиках бунта попытку моделирования альтернативного, параллельного мира. С точки зрения французского философа, «во всяком бунте кроются метафизическое требование единства, невозможность его достижения и потребность в создании заменяющей его вселенной. Бунт с этой точки зрения – созидатель вселенной. Это также является определением искусства. Требование бунта, по правде сказать, может считаться эстетическим. Все бунтарские мысли, как мы видели, воплощались либо в риторике, либо в образах замкнутой вселенной. Городские стены у Лукреция, монастыри и зарешеченные замки у Сада, острова, романтические утесы и одинокие вершины у Ницше, первобытный океан у Лотреамона, парапеты у Рембо,

грозные твердыни, возрождающиеся после налета цветовой грозы у сюрреалистов, образы тюрьмы, разделенной надвое страны, концлагеря, империи свободных рабов – все это на свой лад воплощает ту же тягу к цельности и единству» [7, с. 317–318].

Таким образом, в европейском дискурсе причинность бунта напрямую связывается с необходимостью в реформе, в эволюционном развитии, в совершенствовании системы. Бунт легитимируется подобной идеологической основой. Это в какой-то степени предполагает, что в случае достижения необходимого результата бунтующий человек может остановиться, решиться на переговоры, попытаться выбрать торг вместо бесконечного сопротивления. Пытались ли мы когда-либо представить себе Сизифа в тот момент, когда он все-таки закатит камень на гору? Каковы будут дальнейшие действия человека, удовлетворенного сделанной работой, осуществленным преобразованием природы? Каковы будут дальнейшие действия человека-нигилиста, созданного и концептуализированного Ф. Ницше, если вдруг в нем проснется вера в Бога, если вдруг он увидит его в центре миропорядка, убедится в причастности творца к удивительной симметрии природы?

Наоборот, русский бунт, кажется, не оставляет шансов субъекту на созерцание результатов собственного труда. В русской традиции бунт есть выражение ненависти к конкретному институту власти либо его персонификации. Ненависть акцентируется на сведениях счетов с системой и теми персоналиями, которые связываются ответственностью за производимую репрессию. И если европейский человек артикулирует свой бунт на необходимости реформы, на необходимости постепенного, качественного улучшения, на совершенствовании, то бунт русского человека, наоборот, обладает радикальной остротой и прямолинейностью.

Как однажды выскажется в «Опавших листьях» В. Розанов, «революционеры берут тем, что они откровенны. “Хочу стрелять в брюхо”, – и стреляет» [8, с. 745]. Откровенность бунта в принесении себя в жертву. Жестокость бунта сопряжена с жестокостью и в отношении собственного тела. Таковы Дмитрий Каракозов и Александр Ульянов, таков горьковский Данко, вырвавший из своей груди сердце. Вообще, бунт в русской культуре всегда разрушителен – причиной тому является долгое терпение, предварявшее его.

Можно ли попытаться оправдать бунт человека, если он направлен против институтов, пытающихся подчинить человека себе, лишить его права сомнения и формирования альтернативной картины мира? На наш взгляд, можно, потому как в случае отрицательного ответа есть опасность полностью исключить справедливость духовных исканий Л. Толстого – его гражданский и литературный подвиг. Тогда нужно лишить смысла его попытки формирования параллельной социальной реальности – задачу еды пострадавшим от голода, открытие школ, столовых и библиотеки.

Показательно, что бунт отдельно взятого человека против системы, против невыносимых условий бытия становится важной темой русского искусства в XIX и в начале XX в. Если брать русскую литературу, то таковы герои Ф. Достоевского и Н. Чернышевского, таков тургеневский Дмитрий Рудин. Отдельного разговора заслуживает право на бунт женщины, который в русской литературе представлен страстной лесковской Катериной Львовной из «Леди Макбет Мценского уезда» и Катюшей Масловой из «Воскресенья» Л. Толстого.

Разрушительная прямолинейность русского бунта не отнимает у него эстетичности. Вспомним, как у Ф. Достоевского в «Бесах» нигилист Кириллов на съемной квартире демонстрирует револьверы, лежащие в ящике пальмового дерева, отделанном красным бархатом. Револьверы приготовлены на всякий случай. Бунт становится своего рода навязчивой идеей, делом всей жизни конкретного субъекта. Подготовка к бунту накладывает значительные ограничения на другие дискурсы, создает режим особого, экономического бытия человека. Как отмечает Ф. Достоевский, «бедный, почти нищий, Кириллов, никогда, впрочем, и не замечавший своей нищеты, видимо с похвалой показывал теперь свои оружейные драгоценности, без сомнения приобретенные с чрезмерными жертвованиями» [9, с. 214]. Уже в наше время в такой же съемной квартире герой С. Бодрова из фильма «Брат» изготавливает самострел, и аудитория внимательно наблюдает за четко расписанной последовательностью действий и, кажется, едва ли не проникается подобным опытом. Музыкальный ряд, подобранный режиссером, является очень популярным вплоть до настоящего времени. Действительно, стоит вспомнить, как в период СССР показ различных приключенческих фильмов моментально вызывал к жизни практики подражания. Дети во дворах играли в индейцев и летчиков, в лучников Робин Гуда и копировали стояние во льдах папанинской экспедиции.

Действительно, складывается ощущение, что едва ли не на уровне подсознания в русской культуре сформировалась установка на собственную экзистенциальность, на заброшенность системой. Только в отличие от западных практик отказа, провозглашавших стремление к экологичности бытия, любви и наркотикам, русский бунт оказывается более жестоким и бескомпромиссным.

Дремлющие силы русского бунта заметны и в других формах искусства. Разве не проявляются они на полотне «Демон» М. Врубеля или в «Ликах России» Б. Григорьева? Дремлющая сила бунта неплохо схватывается и в традиции русского авангарда – таковы угловатые, фактурные крестьяне К. Малевича. Разве не чувствуется тревожное ожидание бунта в «Борисе Годунове» М. Мусоргского или в «Петрушке» И. Стравинского? А как неумолим и страшен бунтующий пролетарий в известной скульптуре И. Шадра «Бульжник – орудие пролетариата»!

Таким образом, практики бунта, с одной стороны, приобретают определенные спецификации в том или ином культурном контексте. С другой стороны, практики бунта, производимые в той или иной культурной традиции, только усиливают непосредственный культурный контекст.

Рассмотренный нами как европейский, так и русский опыт бунта позволяет говорить о неизбежности сопротивления как таковом, равно как и необходимости существования особой диалектической оппозиции «власть – сопротивление». Безусловно, наряду с отмеченными нами сходствами практик европейского и русского бунта, необходимо признавать различия в самой структуре бунта, восходящие к различным принципам и мироощущениям бунтующих людей, по-разному представляющих свою социальную природу, эстетический и материальный мир.

Список литературы

1. Шлегель, К. Азия начинается на Силезском вокзале / К. Шлегель // Логос. – 2002. – № 3–4 (34). – С. 169–190.

2. **Скиперских, А. В.** Дискурс политической власти в сказочном тексте: приглашение к медленному чтению / А. В. Скиперских. – Елец : МУП «Типография» г. Ельца, 2011. – 211 с.
3. **Гиппиус, З.** Дмитрий Мережковский / З. Гиппиус // Живые лица. Воспоминания. – Тбилиси : Мерани, 1991. – Т. 1. – 398 с.
4. **Пришвин, М.** Собр. соч. : в 8 т. Т. 8. Дневники, 1905–1954 / М. Пришвин. – М. : Художеств. лит., 1986. – 759 с.
5. **Оруэлл, Д.** «1984» и эссе разных лет / Д. Оруэлл. – М. : Прогресс, 1989. – 384 с.
6. **Яковенко, И. Г.** Россия и репрессия: репрессивная компонента отечественной культуры / И. Г. Яковенко. – М. : Новый хронограф, 2011. – 336 с.
7. **Камю, А.** Бунтующий человек. Философия. Политика. Искусство : [пер. с фр.] / А. Камю. – М. : Политиздат, 1990. – 415 с.
8. **Розанов, В.** Метафизика христианства / В. Розанов. – М. : АСТ, 2000. – 864 с.
9. **Достоевский, Ф.** Бесы / Ф. Достоевский. – Киев : Борисфен, 1994. – 640 с.

References

1. Shlegel' K. *Logos*. 2002, no. 3–4 (34), pp. 169–190.
2. Skiperskikh A. V. *Diskurs politicheskoy vlasti v skazochnom tekste: priglashenie k medlennomu chteniyu* [Discourse of political authority in the fairytale text: invitation to reading slowly]. Elets: MUP «Tipografiya» g. El'tsa, 2011, 211 p.
3. Gippius Z. *Zhivye litsa. Vospominaniya* [Live faces. Memories]. Tbilisi: Merani, 1991, vol. 1, 398 p.
4. Prishvin M. *Sobr. soch.: v 8 t. T. 8. Dnevniky, 1905–1954* [Collected works: in 8 volumes. Volume 8. Diaries, 1905–1954]. Moscow: Khudozhestv. lit., 1986, 759 p.
5. Oruell D. *«1984» i esse raznykh let* [“1984” and the essay of different ages]. Moscow: Progress, 1989, 384 p.
6. Yakovenko I. G. *Rossiya i repressiya: repressivnaya komponenta otechestvennoy kul'tury* [Russia and the repression: the repressive component of the national culture]. Moscow: Novyy khronograf, 2011, 336 p.
7. Kamyu A. *Buntuyushchiy chelovek. Filosofiya. Politika. Iskusstvo: per. s fr.* [The revolting man. Philosophy, Politics, Art: translation from French]. Moscow: Politizdat, 1990, 415 p.
8. Rozanov V. *Metafizika khristianstva* [Metaphysics of Christianity]. Moscow: AST, 2000, 864 p.
9. Dostoevskiy F. *Besy* [Demons]. Kiev: Borisfen, 1994, 640 p.

Скиперских Александр Владимирович
 доктор политических наук, профессор,
 кафедра государственно-правовых
 дисциплин, Институт права
 и экономики (г. Липецк)
 (Россия, г. Липецк, ул. Гагарина, 35а)

E-mail: pisatels@mail.ru

Skiperskikh Aleksandr Vladimirovich
 Doctor of political sciences, professor,
 sub-department of state-legal disciplines,
 Institute of law and economics (Lipetsk)
 (35a Gagarina street, Lipetsk, Russia)

УДК 323.269.6

Скиперских, А. В.

Европейский и русский бунт: сходство и различие культурных контекстов / А. В. Скиперских // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. – 2014. – № 1 (29). – С. 15–21.